

А. И.  
ЭРТЕЛЬ

*Сочинения*



# Александр Иванович Эртель

## Офицерша

«Вся в лучах яркого солнца, она как бы сияла. Блаженная улыбка лежала у ней на губах. Огромные глаза смотрели восторженно. Слабый голосок нервно напрягался и дрожал, переполненный чувством радости и веселого, чисто детского торжества. Поза — простая и важная (она высоко поднимала руку с картонной буквой), светлые волосы, беспорядочными прядями свесившиеся на лоб, темный румянец, проступавший на худом и некрасивом лице, скромный серенький костюм, ниспадавший свободными складками вокруг ее хрупкого тела, — все в ней было привлекательно. Она неудержимо влекла к себе. Бесконечная доброта, выступавшая в ее взгляде, умиляла...»

**Александр Иванович Эртель**  
**Офицерша**

Я только что пришел с гумна, где у меня до-  
молачивали гречиху (дело было в сентяб-  
ре), и сажился за самовар, сиротливо звенев-  
ший на столе, как ко мне в комнату вошел из-  
вестный уже читателю березовский мужик  
Василий Мироныч. Совершив с обычною сво-  
ей степенностью крестное знамение и солид-  
но поздоровавшись со мною, он вдруг хлоп-  
нул по бедрам руками и воскликнул:

— Оказия, братец ты мой!

Тут только я заметил, что степенность, со-  
блюденная Василием Миронычем при входе,  
была напускная: он явно был возбужден, и  
лицо его являло вид недоумевающей.

— Оказия, — повторил он, принимаясь за  
чай.

— Что такое?

— Учительша у нас замудрила!

— Офицерша?

— Она. Так то есть замудрила — помирай!

Ребятишки от рук отбились.

— Учит плохо?

— Чего плохо — в отделку бросила...

— Как бросила?

— Кинула, и шабаш! Никак не учит...

— Что же это?..

— Подивись.

— Ну, делает она что-нибудь?

— А ничего не делает. Лежит ничком, только и делов от ей...

— Больна?

Василий Мироныч развел было в недоумении руками, но затем поправил волосы и решительно добавил:

— Замудрила.

— Не пойму... — сказал я.

— Замудрила, — повторил он настоятельно и, вынув клетчатый платок, старательно отер им лоб.

— Отчего же ей мудрить-то?

Василий Мироныч подумал и сразу утратил решительность.

— Диво!.. — произнес он. — Мы уж ходили, ходили вокруг ей... И так понимали; испорчена-то она: бабку приводили. Бабка поглядела, поглядела плюнула. И умоляли-то ей: неладно, мол, ребятишки без призору... И попрекать принимались: такая ты сякая, мол... ты, мол, деньги получаешь, ты уговор, как-никак, соблюдать должна, а не то что... И так говори-

ли: ежели, мол, насчет прибавки — не постоим, получай, дело твое мы видим... Хошь убей — колода колодой! Ах ты...

Он сердито и скоро допил из блюдечка чай и, допив, снова начал:

— Думали так: ругать ежели... Пронять ее, оборвать... Хоть бы сердце-то она сорвала, думаем уж, осерчала бы на нас... Да признаться, и самих-то зло разобрало — суди сам: лежит человек, и хоть бы слово, тоже ведь люди мы... Тоже ведь, какие ни на есть, а не вроде как собаки, например...

Василий Мироныч как будто оправдывался и в пылу этого оправдания начал даже негодовать. Я прервал его:

— Ну?

— Пробовали. Рванет это ее, рванет... Ажно передернет всю иной раз затрепыхается словно птица, и опять пласт-пластом!

Он помолчал.

— Ума решилась. Бросить ежели, плюнуть — жалко! Первое дело — деться ей некуда; отец-то идол ведь во всех статьях... Другое — баба душевная... Мальчонок-то у меня какой? — вершок в ем. — Василий Мироныч

многозначительно посмотрел на меня и, переполнив тон свой благоговейностью, добавил: — Пишет! Расписки пишет... Запись ведет!

— Да с чего же это с ней? — спросил я.

— Ума не приложим. Так жалко нам, так жалко... Ты подумай — даровая, почитай!.. А уж с ребятишками вникала... Эх как вникала, сердешная! И Василий Мироныч тяжело вздохнул.

— Мы к тебе, — сказал он немного спустя, вставая и кланяясь низко.

— Насчет чего?

— Развяжи узел.

— Какой?

— Насчет офицерши.

— Да что же я-то сделаю?

— Тебе виднее... Темный мы народ-то! Мы ведь вроде как слепцы теперь: бродим ощупью да спотыкаемся... Уважь, проведай ее! Может, у ней, правда, болесть какая, — дело ваше барское, мудреное, нам, дуракам, и невдомек, глядишь... Аль обида ей от кого — дуrolомы ведь мы, остолопы... Мы ведь радостью рады человека-то остолбить!.. Речи-то

наши известны: от слова от одного осатанеешь... Приезжай! Мы, как-никак, услугу твою попомним... Ежели дохтура ей, так мы не только что — городского приспособим... А уж обиды ежели — храни бог! Прямо говорю: глаз не показывай такой человек... Так исполосуем такого человека — сесть станет невозможно. Вот!

И благодушное лицо Василия Мироныча внезапно изобразило сухую и жесткую злобу.

Я обещал.

Но прежде чем рассказать о поездке моей в Березовку, нужно, я думаю, сообщить вам о том, как состоялось знакомство мое с офицершей. Слушайте же.

Был март. Солнце стояло высоко и сильно пригревало. На полях показались проталины. Среди дня с крыш обильно падали капли и по тропинкам сочились ручьи. Снег пожелтел. Сугробы медленно опадали. Дороги тянулись по полям грязными лентами. Дали приблизились и засинели явственно и резко. На дворах курился навоз, переполняя воздух крепким и пряным запахом. В деревнях хлопотливо кудахтали куры, и петухи звонко

оглашали окрестность торжественным своим пением.

Странное это время, читатель! Все обновляется, все готовится к жизни, а между тем какая-то тихая печаль непрестанно и томительно преследует вас. В ушах — звон, нервы как-то расшатаны и болезненно чутки, сердце сжимается тоскливо... Как будто кто-то неведомый зовет вас. Вы не усидите в комнате, куда так тепло и так приветливо заглядывает мартовское солнце, вам скучно, вас тянет оттуда. Но в поле, лицом к лицу с воскресающей природой, вас обнимает грусть. Мягкие тоны, облекающие поле, мечтательное журчание ручейков, даль — голубая и влажная, ясное солнце, светящее тихо и задумчиво; теплый и талый весенний воздух, сладко стесняющий дыхание, — все это щемит ваше сердце и переполняет вашу грудь какою-то мучительной негой. Вам иногда кажется, что кто-то умирает вокруг вас кроткою и безмолвной смертью. Вы как будто расстаетесь с чем-то близким и родным, и бесконечная жалость проникает все ваше существо... И голубая даль неотступно манит вас к себе. Вам хочется суеты, шума,

движения... Вам мерещится толпа, жизнь... А вокруг та же мертвая тишина, то же солнце, ясное и ласковое, тот же раздражающий воздух.

Так вот, когда солнце светило уже особенно ярко и тепло и особенно грустно мне было на моем хуторке, вокруг которого звенели многочисленные ручейки и гибкие ракиты колебались тихо и размеренно, я проехал в березовскую школу. В ней шли занятия. Наквозь пронизанная короткими солнечными лучами, она была переполнена ребятами. Мне, вошедшему туда прямо с поля, где мертвое безмолвие и глубокая тишина прерывались лишь слабым лепетом ручьев, сбегавших в ложбины, показалось там шумно и весело. Но в шуме замечалась стройность. Самая школа не походила на обычные патентованные школы. Все в ней было первобытно. Парты и скамейки отсутствовали; стены не украшались картинами из священной истории, в углу не воздвигалась неизбежная черная доска, исполосованная мелом. Книжек у ребят не было. Письменных принадлежностей тоже не замечалось у них. Толпились

они беспорядочно и без всякого страха. Иные из них сидели на полу; иные занимали лавки или стояли; некоторые же забрались на печку и бойко выглядывали оттуда живыми и смышленными глазенками. Все наперебой возглашали названия букв. (Как и всё в школе, метод был первобытный: ребята хором кричали: Глаголь! Мыслете! Твердо!). Посреди толпы стояла женщина, маленькая, худая, с тонкими угловатыми плечами и впалой грудью. Этой была офицерша. Вся в лучах яркого солнца, она как бы сияла. Блаженная улыбка лежала у ней на губах. Огромные глаза смотрели восторженно. Слабый голосок нервно напрягался и дрожал, переполненный чувством радости и веселого, чисто детского торжества. Поза — простая и важная (она высоко поднимала руку с картонной буквой), светлые волосы, беспорядочными прядями свесившиеся на лоб, темный румянец, проступавший на худом и некрасивом лице, скромный серенький костюм, ниспадавший свободными складками вокруг ее хрупкого тела, — все в ней было привлекательно. Она неудержимо влекла к себе. Бесконечная доброта, вы-

ступавшая в ее взгляде, умиляла.

Она не обратила на меня внимания до тех пор, пока кончились занятия. Тогда мы познакомились. Вся она, казалось, была переполнена счастьем. Ребята привыкли к ней и понимали быстро. Скоро вся эта толпа будет читать, будет вносить свет в гнилые избушки, полные мрака и смрада. Душа офицерши, чистая и ясная как хрусталь, не поддавалась никаким опасениям. Глаза смотрели вперед смело и наивно.

Мы говорили с ней долго и открыто. Да иначе и нельзя было: она не понимала фальши. Надо было видеть, как изумленно открывались ее глаза и какое недоумение изображалось на лице ее, когда она убеждалась, что ей *намеренно* говорят неправду. И это даже тогда, если неправда преподносилась в виде шутки. Свои мечты, свои поступки, мысли и намерения свои — ничего она не скрывала. Все с полнейшей искренностью сообщила она мне, лишь только увидела, что школа меня интересует и что мне не чужды интересы «высшего порядка» (как несколько книжно выразилась).

Она много натерпелась горя. Жизнь недаром наложила на нее какой-то страдальческий отпечаток, резко выступавший, чуть только она переставала говорить о школе и о теперешней своей деятельности. Тогда блаженная улыбка сбегала с ее губ, и они принимали то выражение скорби, которое столь свойственно русским крестьянкам; глаза померкали, румянец уступал место болезненной бледности, вся она как-то сжималась и делалась жалкой и беспомощной.

Во время разговора нашего такая перемена совершилась с ней, когда она отрывочно и неполно сообщила мне свою биографию. Вот эта биография. Училась она в институте, но курса там не кончила. Затем попала в родительский дом, где чахлая мать, тонная и нервная, и здоровяк-отец, плут и пройдоха, довершили ее образование. Мать внедряла романтическую сладость и в сотый раз заставляла ее читать «Амалат-Бека»<sup>(1)</sup>, отец убеждал сколачивать копейку и ловить жениха с капиталом. Капиталист не явился, но в деревню пришла рота. Молодой офицерик, с легким сердцем проскользнув по растрепан-

ным книжкам журналов, преподнес девушке, обезумевшей от лжи и тупости родительской, самовернейший рецепт от всевозможных бедствий. В заключение увлек ее... Отец проклял «негодницу», мать умерла от огорчения, соседи прозвали ее офицершей. Мало-помалу она привыкла к этой кличке. И она была счастлива: завеса открывалась перед нею. Свет бил в глаза. Бесконечные перспективы любви, добра, свободы неудержимо влекли к себе.

Это продолжалось недолго. Денщики растаскали хорошие книжки на «цыгарки», и вместо блистательных перспектив для девушки наступили бесконечные переезды. Из Тамбова полк переходил в Белев, из Белева в Муром, из Мурома в Елец, и повсюду попойки, карты, мелкие волокитства, вечные разговоры о производстве, о порциях, о шагистике... Тоска заедала ее пуще и пуще. Она училась в винт — и бросила. Пробовала пить — и не могла. К счастью, она родила, и ее покинули. Ребенок у ней умер. Измученная, изломанная, разбитая и больная, она возвратилась к отцу.

Отец в то время успел уже спустить на каких-то предприятиях именье свое и теперь, наученный опытом, обнаглевший и дерзкий, держал трактир. Хриплый орган играл в нем арии из «Травиаты» и привлекал публику. Трактир торговал бойко. С утра до ночи слышались в нем нестройные речи, пьяный бабий визг, дребезг посуды и проворное шмыгание половых. Запах сивухи и пара, овчинных тулупов и сырости, каплями сочившейся с потолка, отравлял воздух.

Здесь-то поселилась офицерша. Отец указал ей место за буфетом. И насмотрелась она, налюбовалась за этим буфетом! Пьянство, невежество, разврат, буйство — все прошло перед ней отвратительной вереницей. И, боже, как горело ее сердце... Отрезвить, научить, просветить хотелось ей всех этих «несчастных» (так она выразилась); но она была слабая, больная, подневольная. Что она делала? — Она ночи напролет плакала и мечтала.

И, в конце концов, во что бы то ни стало, решила быть учительницей.

Долго это решение таила она про себя. А

когда сообщила о нем отцу, он обозвал ее ду-  
рой. Но тут подвернулись березовские мужи-  
ки, и она совершенно внезапно очутилась  
учительницей.

Познаний у ней было очень мало. Все ин-  
ститутское давно испарилось. Никакого поня-  
тия о педагогике она не имела, о звуковом ме-  
тоде слышала смутно, книжек Корфа<sup>{2}</sup> и  
Ушинского<sup>{3}</sup> не видала никогда... Но все ее  
существо было переполнено страстным жела-  
нием: водворять грамоту в селах. В грамоте  
она чаяла спасение. Этого было довольно.

— Какой же метод у вас? — спросил я.

Она не понимала, что такое «метод». И ко-  
гда я объяснил ей засмеялась.

— А вы видели? Нарезала я кружочки из  
картонок и на них нарисовала буквы. Вот по-  
казываю я эти буквы и говорю: это — мысле-  
те! Они уж и знают. Покажу все, назову, а за-  
тем и спрашиваю — ну, отвечают. Это я сама  
выдумала, — наивно прибавила она и с неко-  
торой гордостью посмотрела на меня, но тот-  
час же сконфуженно поникла головою и про-  
должала, как бы оправдываясь: — Я долго ду-  
мала, и думала сначала по азбукам... Но ведь

это ужасно много нужно денег и неудобно же... И вот теперь отлично. О, какие смышленные эти ребята!.. И вы не поверите, как они быстро понимают... Есть уже такие, что знают склады, а ведь это ужасно удивительно...

Я ей сообщил о звуковом методе. Она сначала было задумалась, но немного спустя в смущении сказала:

— Нет уж, знаете ли, я по-своему. Я ведь ужасно глупая — я ничего не пойму! Мне нужно долбить, долбить... А теперь я уж привыкла, и мне очень будет трудно, ежели отвыкать. И вы не подумайте — право же, они отлично понимают... О, это такие умные!.. А вот вы чему научите меня, где бы мне найти такую книжку, чтобы все, все в ней было означено: как учить, как говорить, как что... Право же, я ничего не знаю. И опять вот о чем: где бы купить таких книжек, чтобы они были умные, умные и чтобы очень дешевые?.. Я это для них. Я вот о чем думаю: ну, выучу я их, а что ж они читать-то будут?.. И так придумала, что непременно нужно найти книжки... Но самые, самые дешевые! Я тут недавно купила... — Она быстро вскочила и,

порывшись в сундучке, подала мне тоненькую желтую книжку. — Вот видите, «Как нужно жить, чтобы добро нажить». Это очень дешево. Но знаете ли, штука какая... — Она застенчиво потупила глаза и произнесла нерешительно: Нехорошо в ней что-то, не правда... Может, я и не понимаю, но право же странная она какая-то, эта книжка!.. Барин тут... и опять научается, чтоб крестьянин особняк бы заводил... Я не знаю, но право же, мне кажется, это не правда... Вот только дешева она и славная такая, чистая... — Она пристально посмотрела на меня, помолчала и затем, совсем опечаленная, добавила: — Где же я возьму этих книжек?

Я посоветовал ей, что мог. Тогда, успокоенная, она снова пустилась в рассказы о своих учениках. Особенно восхищал ее десятилетний сынишка Василия Мироныча. По ее словам, он обладал изумительными способностями. Он уже читал и начинал писать. Были и еще такие. Были такие, что понимали грамоту как-то сказочно скоро и относились к этой грамоте с серьезнейшим и полнейшим благоговением. При этом она указала на девушку,

постоянно жившую с ней, — строгую и задумчивую красавицу Алену.

И когда офицерша говорила о преуспевании учеников своих, лицо ее как бы просветлялось, и его некрасивые черты получали особую привлекательность.

Я пробыл у ней до вечера. Мы пили чай, ели теплый черный хлеб, посыпанный крупной солью, и уху из свежих окуней. А когда смерклось, она предложила мне посидеть на крылечке.

На дворе едва морозило, — было тепло и тихо. Серые тучи заволокли небо. С юга тянул влажный и ласковый ветер. Ручейки однообразно булькали, нарушая тишину шорохом и звоном. Грязные проталины у крыльца медленно застывали. Лужи подергивались тоненькой пленкой. Серое поле уходило вдаль, пустынное и печальное. На западе, тускло проникая сквозь тучи, желтела заря. И поле, и деревню, и крылечко наше озаряла она умирающим светом, странно и задумчиво. Где-то в конце поселка блеяли овцы и пронзительный бабий голос раздавался явственно и протяжно:

— Ари-и-шка-а-а!..

И затем переходил в быструю скороговорку:

— Аришка, пес тебя закарябай, неси ведро!

Офицерша, плотно завернувшись в поношенную шубку с беличьей опушкой, уже наполовину повытертой, сидела на низенькой скамеечке и, не сводя глаз с потухающей зари, говорила возбужденно и радостно. Чувство какой-то светлой и славной бодрости, казалось, набегало на нее непрерывными волнами и как будто подмывало ее, как будто уносило куда-то... Иногда обращалась она в упор ветру и глубоко вдыхала воздух, мягкий и влажный... Счастливая улыбка почти не сходила с ее губ.

На перилах крылечка сидела Алена. Она тоже смотрела в сторону зари. Но брови ее обычно были сдвинуты, и темные глаза глядели сумрачно и строго. Она чутко прислушивалась к словам офицерши. Иногда какое-либо незнакомое выражение вызывало недовольство на ее лице, и брови ее хмурились еще пуще, но через мгновение она снова походила на изваяние и сидела неподвижная,

решительная, внимательная. Ее грубые руки, сложенные крест-накрест, лежали на коленях. На указательном пальце правой чернело чугунное колечко от св. Митрофания.

— И как это не поймут люди, и как это люди не обсудят, что народ — его непременно надо учить!.. — говорила офицерша. — Вот вы научите его, посмотрите на него... Я все видела, я к нему так приглядывалась... И право же все, все от невежества!.. Дайте-ка ему книжку в руки!.. И стала я еще думать, стала я припоминать: ну хорошо, ну с благородными я жила... Что же, лучше они? Они ведь, вы думаете, лучше, благородные-то люди?.. Ах рассказать бы вам, какие они!.. — Она на мгновение было затуманилась, причем характерная страдальческая черточка появилась около ее губ, но затем тряхнула головою и с прежней бодростью в тоне продолжала: — Ну, бог с ними!.. А я вот лучше расскажу о пьяных, о грязных, о таких, которые вот вроде диких бывают, и вместо всего-то этого все ж таки лучше благородных...

Тут она всплеснула руками и с увлечением воскликнула:

— О господи, да где же бы мне быть-то, если бы не они, не мужики-то крестьянские!.. Ведь я бы в могиле давно лежала... Ведь я бы на свет-то божий не глядела... Только и было офицерше веку, что засыпали бы землю... Вот я расскажу вам, какие они.

Она глубоко вздохнула, прислушалась на мгновение к ручьям, мерно и слабо звеневшим, и, усмехнувшись счастливо, начала:

— Горе-то мое я вам все рассказала. А вот чего не рассказала. Рота наша в деревушке стояла, в Пензенской губернии. Ну, как пришло мне время родить — бросили меня. И совсем, совсем я одна осталась. Ни денег у меня, ни вещей, сама я больная, слабая... О, как было тяжело и как грустно!.. Ну и что же, пропасть мне по-настоящему-то, — ничего-то я не знала, ничего не умела: лежала да плакала... И думала еще, много думала. Я так думала, что почему это благородные люди — и такие злые они, и чем я против них провинилась. Если бы я виноватая была, ну — так, пускай бы... Но вместо того я совсем невинная. И опять я думала о книжках: как это, думала, там показано насчет любви — без стеснения,

и где же счастье?.. И много плакала. И так пришло мне время родить. А на поселке не знали про меня, что я брошенная; думали, что воротится муж-то, возьмет меня... И я скрывалась стыдно мне было... Ну, только пришло такое время: не могла я скрываться; думаю, все равно — пропащая я... И сказалась. Так что ж бы вы думали — я от матери родной ласки такой не видала!.. И ни минуты, ни секунды не была я одна: видят-тяжело мне, и ходят. То одна бабеночка прибежит, то другая... И какие умные, — ведь не станут о горе об моем говорить; ведь понимают, что пуще у меня с того сердце разрывается, — а так, между собой болтают: ругань заведут, споры, песни, играют... Мне и хорошо и покойно с ними. А одна старушка была — что же это за любовь, что же это за нежность такая! Вся-то она сморщенная да маленькая, а сердце у ней золотое было... И вообразите, сию я без денег и нет у меня никаких средств, а кормят меня, носят мне бабы всего съедобного!.. Та пироги пекла — пирог несет; другая лапши или цыпленка, третья блинцы тацит... И все это с радостью, с лаской... И было мне очень сытно.

Ну, ребеночка, пожалуй, и они у меня уморили... Бабка-то простая, грубая, мучила она меня, мучила, не знаю, как не смотала всю... А как родилось дитя, и пошли они с ним мудрить. Оно хворое принялись лечить его. В печку сажали, водой ледяной обливали... Я же лежала без памяти и ничего не видала. Ну, прошло время, оправилась я порядочно и начинаю думать. Думаю, как же мне ехать теперь, куда же деться мне?.. — Она помолчала и немного спустя с торжествующим видом обвела меня взглядом. — И все мне справили!.. Наладили мужичка со мной, миром повозку выправили, лошадок, набрали пицци всякой и проводили... Сколько забот было! Сколько ласки всякой! Ноги мне накрывали, зацеловали всю... Мужичку наказы делали: беречь, не вывалить, покоить... Вот они какие!

Она остановилась и перевела дыхание.

Заря погасала. Поле облекалось сумраком. В избах появлялись огоньки.

— Хороши тоже! — вдруг неожиданно и сурово произнесла Алена.

— Милая ты моя, — живо возразила офицерша, — да разве же я не знаю? Я ведь все

знаю, голубка. Я про одно говорю: сердце-то они у меня растворили. Вот про что! А уж как они темны да несчастны, я и сказать-то того не сумею... Я ли на них не нагляделась! Бывало, сижу, сижу за буфетом-то и все примечаю, все думаю об них. И много я тут плохого увидала. А чего нет хуже — дружества нет у них. Друг-то против друга подкопы да подвохи, и всякий-то норовит обморочить другого!.. И вот торговля эта у них развелась: всякому бы нажиться да вылезть в купцы; и об одном думает, нельзя ли брату своему на шею сесть... Ах, ужасно все это!.. И опять вино и драка... Все, все я видела!.. Но только я так думаю, все это от невежества от ихнего. Душа-то ведь, ах, какая золотая у них!

Наступила пауза.

— И еще я вот что думала, — продолжала офицерша, — одна нам дорога, благородным-то людям, — народ учить. Я ведь пожила. И я много видела. И вы не думайте, что счастливы благородные-то люди: пусть у них и деньги и все, но только все ж таки они несчастные. Пустота у них, вот что. Таскается-таскается благородный человек, живет-жи-

вет и вдруг видит страшная-то скука в жизни. И некуда ему деваться. Я по себе сужу. Ах, что же это я за несчастная была!.. И все-то, бывало, о себе думаешь, и как одеться, и что сказать, и все... И выходило страсть как скучно!.. Иной раз думаешь-думаешь так-то: господи, да неужто так и жить!.. И живешь. Вот зверей я видела в клетке, так-то маются... Ходит-ходит, сердечный, по клетке и думается ему, милому, — дело он делает, а вместо того только одна неволя... Нехорошо так.

Она грустно опустила голову и задумалась.

Вдруг в конце деревни послышался детский плач, и раскатистая женская ругань явно раздалась в неподвижном воздухе. Офицерша встрепенулась. — Что это! — воскликнула она тоскливо, и все лицо ее изобразило мучительную тревогу.

Алена встала и чутко прислушалась.

— Ах ты, такой-сякой! — кричала баба. — Я тебя, родимца, куда спосылала, а?.. Я тебя к тетке, дьяволеныш, а ты замест того... на!.. на!.. на!..

И здоровые шлепки звучно оглашали воздух. Мальчик плакал жалобно и бессильно.

— Мосевна Митрошку колотит, — равнодушно произнесла Алена и снова уселась на перила.

Мы помолчали несколько минут. Офицерша нервно кусала губы. Наконец в воздухе снова воцарилась тишина. Где-то вдали глухо и прерывисто залаяли собаки.

— Нет, это прямо нечестно! — горячо и взволнованно заговорила офицерша. — Нечестно видеть кругом, что люди слепые какие-то... Видеть, что они бьют детей и сами дерутся и опиваются... и знать, что есть спасение, есть свет... и сидеть сложа руки... Никогда, никогда! О, неужели же бывает какое-нибудь дело важнее этого! Ни за что не бывает... Ну как же это не счастье — слепцам глаза открыть, исцелить их... Вы думаете, Мосевна плохая баба? Нет, она — хорошая баба!.. А за что же она бьет Митрошку? Темная она, слепая она, неразумная... Ну-ка, научите ее грамоте... Только научите!.. И не будет она больше, бить Митрошку. И Митрошка своих детей не будет бить... Ах, как это не поймут, ведь это так просто, так...

Я не возражал офицерше. Мне казалось

нехорошим колебать эту фанатическую веру. И притом так было ясно, что вера эта есть вместе с тем и единственное спасение самой офицерши — все ее мечты, все ее идеалы покоились на ней. И она с такой трогательной страстностью относилась к этим идеалам и так беззаветно отдавалась фантастическим грезам своим, что было больно. Чувствовалось, что опора у ней хрупкая... А между тем мне было легко и хорошо с ней. Обаяние какой-то девственной чистоты и высокой нравственной силы сказывалось неволью.

Было поздно, когда мы разошлись. Притом у офицерши разболелись зубы.

— Ах, постоянная это моя болезнь! — со вздохом сказала она, когда мы вошли в комнату, и, показывая мне пузырек с морфием, улыбаясь, добавила: Вот чем спасаюсь — знакомый фельдшер удружил... Ведь вы знаете, это — яд, и очень сильный... Глотнуть и — брр... — Она шутливо сморщилась, сделала гадливую гримасу и начала осторожно наливать морфий на вату.

Мы простились.

С тех пор мне не довелось ее видеть.

Немного спустя после нашего первого знакомства я уехал и воротился в степи только к уборке. Об ней же слышал, что она учит по-прежнему хорошо и старательно и даже летом не бросала занятий, обучая тех ребят, которым можно было увернуться от страды; но вместе с тем говорили про нее, что она невесела и смотрит больною. Я все собирался завернуть к ней, как вдруг неожиданно подвернулось это странное сообщение Василия Миropyча.

Утром я отправился в Березовку. День был тихий и ясный. Золотистое солнце переполняло сверканием прозрачный воздух и ярко озаряло дали косыми лучами своими. Гладкая, плотно убитая дорога блестела, как покрытая лаком. Кругом расходились жнива, и веселые озими убежали вдаль волнистою полосой. В высоком небе протяжно перекликались журавли. Серебристая паутина тянулась бесконечными нитями, плавно и медлительно. Было сухо и прохладно. Лошадка моя бежала бодрою рысцою, звонко ударяя копытами о твердую землю. Колеса дрожек однообразно и мерно трещали.

Славное время этот погожий сентябрь! Дышится так вольно, и так умиротворяются нервы глубокой тишиной безжизненного поля. Но когда я подъезжал к Березовке, у меня вдруг жутко и тревожно защемило сердце. Неясный шум добежал до моего слуха, и в этом шуме мне почудились причитания. Я погнал лошадь.

У школы толпился народ. Мужики стояли без шапок, недвижимо и строго, бабы плакали, дети растерянно сновали взад и вперед и собирались кучками. Я бросил лошадь какому-то предупредительному мужику и подбежал к толпе.

— Что случилось?

Никто не ответил. Головы еще более понурились, и серьезное выражение лиц усугубилось. В глубоком молчании дали мне дорогу, и я вошел в школу.

Несколько баб сидели в первой комнате и шепотом разговаривали, печально покачивая головами и беспрестанно утирая слезы концами платков. Когда я вошел, одна из них поднялась и, пригорюнившись, подошла ко мне.

— Там, батюшка... — сказала она и указала на перегородку.

Я вошел туда. На низкой железной кровати, покрытой белым, недвижимо лежала офицерша. Она была мертвая. Бледное лицо ее еще более похудело теперь, щеки ввалились, и под закрытыми глазами стояла синева. Та страдальческая черточка, которую довелось мне некогда заметить в ней, выступила теперь резко и явственно. Все лицо изображало мучительную скорбь и как бы застыло в момент сильнейшей боли. И несмотря на солнце, обильно проникавшее в комнатку и золотистым светом своим затоплявшее кроватьку офицерши, с лица этого не сходили угрюмые тени. Сама она, хрупкая и маленькая, с руками, судорожно стиснутыми на груди, и в неизменном своем сереньком капоте, казалась спящею. И только каменная неподвижность ее тела говорила о смерти.

Я оглянул комнату. Трогательная скромность и умилительная простота царили в ней. Маленький комодик, покрытый белоснежной скатертью, два-три табурета, несколько фотографий в простеньких рамках,

крошечное зеркальце, обвитое искусственными цветами, темная икона святой девы в углу составляли обстановку. На комодѣ валялась «Методика» Евтушевского<sup>(4)</sup> и белелся большой пакет с неясным адресом. Тут же лежал пузырек, на дне которого густо желтела какая-то жидкость.

Недалеко от кровати, недвижимая подобно статуе, сидела Алена. Бледная и печальная, она в каком-то тоскливом отчаянии сжала руки и так и замерла в этой позе, не спуская глаз с офицерши. Когда я подошел к ней, она безучастно взглянула на меня и отвернулась.

— Алена, — сказал я, — Алена...

Она ничего не ответила. В это время, проворно шмыгая ногами, к ней подбежала какая-то старушка и, низко наклонившись над нею, быстро и прерывисто зашептала:

— Аленка-а? Что ты, матушка... Господь с тобою!.. Очнись... Ишь, барин тебя кличет... Очнись, лебедка...

Я попросил оставить ее в покое и вышел в другую комнату. Бабы все так же шептались и тихо всхлипывали.

— Что с ней? — спросил я.

— И ума не приложим, — заговорили они вперевод, впрочем не возвышая голоса и не переставая всхлипывать. — Надо быть, согрешила сердешная извелась, руки на себя наложила... «Ноет у меня сердце, бабочки, — говорит, бывало, — вот как ноет — изорваться хочет... Вся бы я исплакалась, вся бы я слезами изошла...» Были такие — слушали этикие речи. — Ну, а тут как нашло на нее — ничего уж не гуторила... Лежит, бывало, есть не ест, пить не пьет... — И такая она стала вроде как закаменелая... — Тут и речей от ней не слышали никаких... — Аленку на что любила — словечка с ней не проронила, окромя «Аленушка» да «голубушка»...

В комнату, осторожно ступая кончиками громадных сапог своих, вошел староста. Он то и дело поправлял свою медаль, ярко блестящую у борта кафтана, и озабоченно хмурился. Мы поздоровались. Он зашел за перегородку, внимательно посмотрел на труп и, возвратившись оттуда, погрозил бабам.

— Вы смотрите у меня, — сказал он, — чтоб все на своем месте было! И, сокрушительно вздыхая, сел около меня.

— Вот беда-то, Миколай Василич!

— Что же делать!.. Видно, на роду было ей написано, — попытался я его утешить.

— Об ней-то уж что! — возразил староста. — Известно уж, господь с ней: такой ей, видно, предел... попущение божие!.. А ты вот погляди, как самим-то выпутаться... Первое дело, суд теперь наедет... Ну, это еще туда-сюда, это не то что смертоубивство какое — человек в своей смерти волен. А вот школу-то, сказывают, мы не по закону держали!.. Ишь, говорят, не было у ней таких прав, чтоб ребят обучать, и опять без начальства... Вот тут и подумай!.. — Он почесал в затылке и снова вздохнул глубоко.

— Василий Мироныч где? — спросил я.

— К становому поехал. Уж упростили. У него дружба с становым-то, авось как-никак застоит...

В это время за перегородкой раздался вопль. Сначала странный и слабый, он протянулся долгим и каким-то болящим звуком и затем перешел в горькие и порывистые рыдания. Я бросился за перегородку. У постели, наклонившись над трупом, билась и трепетала

Алена. Плечи ее судорожно вздрагивали, темные волосы беспорядочно распустились и покрыли изможденное лицо офицерши, руки крепко сжимали ее худенькое оцепеневшее тело.

У двери столпились бабы. Староста подошел было к Алене и попытался отвести ее от трупa, но затем махнул рукою и, как бы мимоходом смахнув слезы, выступившие на глаза, вышел на двор. Бабы всхлипывали все громче и громче. Некоторые из них тихо причитали. Рыданья Алены становились глуше и протяжнее, в них начали прорываться слова, и бессвязные восклицания понемногу переходили в страстный и невыразимо тоскливый монолог.

— И что же ты наделала?.. На кого же ты покинула меня?.. — причитала она. — Печальница моя... радельница моя... победная ты моя головушка!.. Я ли тебе не угождала... Я ли тебя не любила...

Сил моих не было терпеть более... Спазмы сжали мое горло и душили меня. Сердце болело сосущею болью. Я быстро вышел из школы. Тонкий и ноющий звук колокольчика по-

слышался вдалеке. Вероятно, это спешил становой. Солнце по-прежнему сияло, и торжественно опрокинутое небо синело кротко и ласково.

Спустя несколько дней я получил приглашение от следователя «пожаловать к нему по делу». В некотором недоумении явился я в его камеру. Следователь оказался очень любезный человек в черепаховом *pinse-nez*, с брюшком, выхоленный и подвижной. Он подал мне распечатанный пакет.

— Что это? — спросил я.

— А это согласно воле березовской учительницы... Извините, что распечатано: так было нужно... И к слову добавлю — прелюбопытная вещь: вот психоз-то изумительный!.. Это письмо чрезвычайно облегчило мне следствие. Скажите, пожалуйста, вы с ней хорошо были знакомы?

— Это допрос?

— О, помилуйте! Следствие уже закончено; я уже разрешил и похоронить, как просила покойница, на кургане. Где-то там курган у вас есть Дозорный, так на нем. Препятствий к тому не оказалось.

— Что же выяснилось из следствия?

— А констатировано отравление морфием. Самоубийство, конечно... Впрочем, позвольте, я прочту вам показание Елены Остаховой.

Он вынул из портфеля «Дело № 327» и, быстро перевернув несколько страниц, начал:

«Зовут меня Елена...» — ну, это неважно, — «лет осьмнадцать... вероисповедания православного...» — а к слову сказать, удивительно красивая и характерная девка, — заметил он, с приятностью улыбаясь; но тотчас же, изобразив в лице своем серьезную сосредоточенность, воскликнул: — Вот! — и начал читать: «Дюже тосковала и, почитай, не говорила... (Он сделал ударение на „дюже“ и „почитай“ и в скобках произнес: „Я всегда заношу подобные слова; это, знаете ли, придает колорит...“)...почитай, не говорила. Лежала больше. Раз встала ночью, села писать. Обучать совсем кинула. Попрекали ей. Ходили мужики и бабы и попрекали. Говорили: ты деньги берешь, а учить не учишь. Она все молчала и вдруг говорит: „Я не хочу ваших денег“. И все говорила о какой-то кабале. Потом опять мол-

чала. Потом позвала меня и говорит: „Болят у меня зубы“. И говорила тут ласково. Наказывала, как жить: чтобы хорошо, честно. И потом сказала: „Не спится мне, сем-ка я выпью лекарства“. Потом взяла зубное лекарство — выпила. Я смотрю как оглашенная... Как же, говорю, ты пьешь, нуу-кось умрешь с того? „Пускай“, говорит. И тут я испугалась. А она взяла меня за руки и говорит: „Не бойся, я, мол, в шутку тебе сказала, что умрешь от того лекарства, оно сонное“, и опять наказывала мне, как жить. Плакала. И потом сказала: „Кружится моя голова“. И опять плакала и говорила. Ну, тут стало ее тошнить и ослабла. Я говорю: „Ляжь, говорю, засни“. Она легла... Вот и все. Больше я ничего не знаю».

Следователь остановился и ласково поглядел на меня.

— Ну-с, по анатомированию оказалось отравление морфием, — сказал он и затем с живостью продолжал: — И что курьезней, — представьте себе, никто и не знал, что в Березовке существует школа! То есть, оно, если хотите, и знали, становой даже слышал, — но по русской простоте не обращали внимания...

Удивительное дело, до чего распущен русский человек! Что ты ни делай, чужды ему принципы законности, да и шабаш! Я уж говорю: «Господа, да вообразите вместо невинной-то этой офицерши другого рода какая-нибудь... Ведь невозможно же так!..» И это полиция наша, блюстители, столпы!.. Ах, Азия, Азия!..

Я напился чаю у любезного следователя и к вечеру возвратился домой.

Погода переменилась. Дождя хотя и не было, но ясное небо заволокли тучи, и длинные осенние сумерки скучно и тоскливо повисли над полями. Крепкий ветер пронзительно завывал, предвещая дождливую погоду, и щетинил соломенные крыши хуторских построек. Ракиты на плотине печально шумели, беспомощно простирая ветви свои, с которых уже начинала опадать листва. Пруд синел и плескался, ударяя мелкими волнами в голые берега, и колебал камыш, наполнявший воздух однообразным шорохом. Было глухо и неприятно.

Я вошел в комнату и остановился. В сером полумраке четко и ясно качался маятник, и

сверчок тянул назойливую свою песню. Окна глядели подобно глазам чудовищ — взглядом пристальным и тяжелым. Я зажег свечу и развернул пакет. В нем лежало несколько листиков, исписанных нетвердым, детским почерком, и письмо офицерши. Впрочем, и последнее писала слабая рука. Косые и неясные строчки робко жались в нем друг к другу, непрерывно нарушая орфографию, бессовестно минуя точки и запятые и изобилуя кляксами. Кое-где среди них расплывались желтоватые пятна, следы влаги. Серая бумага была смята и не отличалась чистотою.

Вот это письмо:

«...Вот уж пишу-то вам не знаю зачем! И не знаю, что толкает меня: все равно ведь — дело покончено. Но все-таки не удержусь. Хочется мне писать. Хочется сделать так, чтоб знали бы и видели и чтоб понимали, почему люди могут умирать. Вот в чем дело: пусть вы не подумаете, что я совсем глупая. И не вы одни, а все вы — люди. А я умираю не от глупости, но прямо вот незачем мне жить. И я, ах, как долго думала. Все-то мне казалось, не болель ли во мне какая, вроде того, например,

как меланхолия бывает. И я со всех сторон глядела... Но, вместо того, все-таки приходится умирать. Ах, не подумайте вы, чтоб я от тоски от своей, оттого, что счастья мне нет и ни в чем удачи... О, совсем, совсем не то! Я ведь оторвалась от своих-то мечтаний и о себе почти не думала. Я только думала: что мне делать? И вот теперь такое пришло время, что нужно умирать.

Сил во мне нет, вот что. Я как ослабла теперь, так и думаю: хорошо в могилке лежать. Ни о чем-то никаких дум, и ничего-то у тебя не болит! И вот вам моя просьба: пусть бог меня судит, но только не могу я... А поп таких не хоронит. Пусть же меня зароят на Дозорном кургане. Любила я его. А почему любила — рассказать? — Теперь все равно, расскажу вам. С него далеко видно. И есть пахучая такая травка *чабор* — много ее там. А на самой вышине конский щавель растет, высокий такой, тонкий и прямой как стрела. И как ушла я с моим офицером, проходили мы полком на Воронеж. Я люблю пригорки. Я взбежала на курган и села, и он на коне въехал, пустил коня и сел. А полк как туча какая раз-

вернулся и далеко ушел; я помню: солнце было, и штыки как свечи сияли. И солдатики песню пели: *Не одна-то во поле дороженька...* А я сидела и плела венки, — желтые, помню, цветочки нарвала и васильки. И он положил мне голову на колени и говорил. Как насчет любви, насчет счастья... Много говорил. И как глянула я кругом: слезы, слезы у меня... Очень уж хорошо и далеко видно...»

Тут на письме расплывалось желтое пятно, а дальше следовало:

«...Господи, чтой-то я... И к чему это я завела! Смешно даже. А не забудете мою просьбу?.. Все равно ведь закопать, так пусть закопают на Дозорном.

И делов мне никаких не нашлось. Вся-то я какая-то пустая, порожняя, и вынули из меня душу. А уж кому было ее вынуть, и не придумаю. Жизнь моя проклятая вынула. Но только я ни в чем не виновата...

Помните, как говорила я вам насчет грамоты и насчет того, что я счастлива? Ну, только счастьем моему очень поспешный пришел конец и очень скорый. И я совсем теперь несчастная.

Вот не умею-то я... Но расскажу вам вот что. Стало мне заметно по деревням, что большое есть желание у мужичков ребят учить. И такое даже желание, что готовы на всякие жертвы. И я это замечала и была очень рада. Я так думала: прискучила им темнота. И думала, что хорошо это. И как стала учить сама — сделалась совсем довольная. Но только вместо того — я несчастная. И на несчастье-то на мое натолкнуло меня вот что. Приносит мне Василь-Миронычев сынишка листик и говорит: „Ну-ка прочти!“ — и улыбается. А он уж твердо пишет. „Что это?“ — „Бате расписку написал; Егоров Фомка ржи взял займы, так насчет ржи...“ Прочла я... И что же вы думаете! И неустойка там, и штраф, и проценты... Ужас, что такое! „Да где ты научился?“ — говорю ему. „Видел, говорит, расписки барские и насчет процентов видел...“ И дает мне книгу. „Посмотри-кось“, говорит. Смотрю я, и не верю. Все долги у него записаны, проценты отмечены — да какие проценты! — а в конце-то концов старательно переписан тариф до Москвы на свиней и муку. „Это что?“, спрашиваю. „А свиней скупаем и

это чтоб не прошибиться; а это по муке расчет, — батя было ошибся, а я по арифметике расчел, и вышло: две копейки на пуд сложить у мужиков, потому при покупке ежели передашь, барышу будет менее“. И тут же еще подает листик. „Вот еще расчет, говорит, это ежели выгон снять у мужиков, да под просо ежели его, и сколько барыша. А вот про овец — ежели скупить по зиме, а к Егорию собрать. Это сало с них, это — овчины, а это, как у мужиков, подати, чтоб потрафить. Вот Фоме Егорову за первую половину платить 17 р., Лукьяну Гришину 23 руб... — это я у сборщика списал“. — И стоит, знаете ли, он предо мною и весь-то от радости краснеет. Господи ты боже мой, думаю, да что же это такое?.. И вдруг на меня ужас напал.

Отпустила я его и стала приглядываться. И все замечала. И стало мне заметно, что ежели грамотный, — он не иначе, как промышляет или находит должность. И вот еще что: кто понятливей, тот самый и есть опасный человек. А почему это так выходит, я не замечала. Только я вот что думала: ну, если я обучу и вместо того разведу кулаков. И если кулаки

будут знать арифметику и всякие расчеты, то неужели это будет лучше?.. Ах, ведь это совсем, совсем будет хуже!

Но только вот еще что случилось. Был у нас мужик Агафон и умер. И что оставшее после него старики поделили по обычаю: как дочерям Агафона, так и сынам. Но вместо того Агафоновы дети остались недовольны и взяли адвоката. И, конечно, их разделили по закону. И вы знаете, какие крестьянские дети: что на миру делается, у них уже толки — все знают. Что же вы думаете, они? — еще больше стали стараться, чтобы понять, и прямо говорили: „Ноне старики не сильны; ноне всякий может себя отстоять и подвести под закон. И это, я ведь знаю, с чьего голоса говорится — с голоса тех же самых стариков.

И вот еще что. Дети — они чистые. Но я вот что думаю: не одна темнота в деревне. Право же. Не только дружба нет, но всякий держит на уме, как бы подняться и лишиться крестьянства. И ежели он темный, и такое думает, и такое говорит, то ведь дети-то неужели глупые какие? И кроме того, прямо на глазах у них: тот беден, тот богат, и кто ежели

торгует, тот получает барыши. И никого нет, чтоб идти за мир и послужить. А если выщется такой человек, и над ним смеются...

Вот я что замечала. Нет для детей занятней задачи решать. И если в задачах товар, да прибыль, да ежели фунты, и пуды, и цены — большой это им интерес. И опять рассказы... Как хороший в рассказе человек и добродетельный, и разное добро делает людям — и им скучно. Но напротив того — рассказ житейский, очень они это любят. Я раз про Николая-чудотворца говорила, и говорила, как он бедным девушкам помог. И как потом стала спрашивать, что же показалось им в рассказе, то прямо сказали насчет денег и насчет того, как без всякого ожидания девушки получили золото.

Я вот не умею описать, но я долго мучилась. И я не знаю — но только учить грамоте я не могу. И как же мне их учить, когда вместо того такие у них помыслы (ежели вы не поверите — я листики Василь-Миронычева сына прилагаю), и ежели грамотному человеку один выходит простор — грабить. Потому что я это понимаю, ежели в мужике и вдруг

оказывается кулак.

Вот мне и пришло на ум: сем-ка я перестану жить. Нельзя же мне жить и мучиться. Потому, чувствую я, — нет мне на этом свете дела. А уж по-прежнему, на себя жить, кормиться, я не могу, — сил моих нету. И стало мне тут казаться, как вот в пословице говорят: „Свет не клином сошелся...“ — стало мне показываться, что совсем, совсем он клином сошелся, свет-то, и что как ни оглянешься, везде-то один холод... И что же я тут вспомнила. Вспомнила я — тетрадка у меня была, офицер мне подарил, и были в этой тетрадке стихи одни: *Ах, усни, моя доля суровая! Крепко закроется крышка сосновая, плотно сырою землю придавится... Только одним человеком убавится... Убыль его никому не больна, память о нем никому не нужна...*<sup>(5)</sup>

Господи, что ж это я за дура за такая...

Ах, похороните меня на Дозорном!»

Тут письмо оканчивалось, и опять желтелось пятно, в котором безобразно расплылись последние буквы.

Наутро были похороны. Я не ходил. Я только видел, как небольшая толпа, в которой

изобиловали дети, чернеясь на сереньком горизонте, медлительно прошла к кургану и как маленький гроб мерно колыхался на плечах несущих.

Но на другой день я проведал офицершу. Могилка ее возвышалась на самой вершине кургана, и оттуда действительно видно было далеко. День был серый и пасмурный. Бесконечные вереницы свинцовых туч низко ползли над пустынными полями. Вдалеке синел лес. Грязные села чернелись там и сям, и стройные колокольни воздвигались темными силуэтами.

Я сел на могилу. Рыхлая земля, медленно шурша, осыпалась подо мною. Перекати-поле взлетело на курган и, на мгновение зацепившись за насыпь, тихо и задумчиво покатилось далее. Жесткий северный ветер то буйно и дико завывал над моим ухом, то плакал жалобно и тонко.

# Комментарии

*Амалат-Бек* — герой одноименной романтической повести Марлинского (Александра Бестужева, 1797–1837). Повесть была написана в 1832 году.

[^^^]

*Корф* Николай Александрович (1834–1883) — видный русский педагог и методист, прогрессивный деятель народного образования.

[^^^]

*Ушинский* Константин Дмитриевич (1824–1871) — великий русский педагог, один из основоположников русской педагогической науки и народной школы в России, автор книг для первоначального обучения, по которым в течение многих десятилетий учились десятки миллионов детей.

[^^^]

## 4

«Методика» *Евтушевского* — «Методика подготовительного курса алгебры» (1876) *Евтушевского* *Василия Андриановича* (1836–1888), русского математика-методиста.

[^^^]

«Ах, усни, моя доля суровая! Крепко закроется крышка сосновая...» и т. д. — вторая строфа стихотворения «Вырыта заступом яма глубокая» (1860) поэта И. С. Никитина (1824–1861), по определению А. М. Горького, «поэта... яркого и социально-значительного». «Вырыта заступом яма глубокая» было одним из самых популярных стихотворений Никитина, неоднократно перекладывалось на музыку. «Офицерша» цитирует первую строчку стихотворения не совсем точно. У Никитина:

*Что же? усни, моя доля суровая!..*

[^^^]